

Только ночью, в черном сне,
Словно грешник на поруки,
Из груди рвались вовне
Непонятные мне звуки:

«Та-та-та-та, та-та-та ... —
И опять: — Та-та, та-та-та!..»
Билась в небо немота
Горлом пролетариата.

Я не знаю, для чего
Мне была такая милость.
После — встретила его
Да и в ножки поклонилась.

Финальный поклон — как акт святости — читательскую спесь переворачивает к слезе, вынося за скобки даже грандиозный мычащий, не проявленный смыслом звук (та-та-та), хотя нам никак нельзя упустить мощный афористичный образ: «Билась в небо немота Горлом пролетариата».

«С утра запаслась сушкой, Теперь у церкви стою — С алюминиевой кружкой, Полтиннику рада, рублю. Вчера было зябко малость, А нынче такая теплынь! Всегда Ты берег мою старость, Вот и теперь — не покинь. Какое бездонное небо — Для яви, для вечных снов... Дождусь и вина, и хлеба, Такая во мне любовь!» («Солнце»).

И такая в ней любовь — тоже:

«Вчера — гуляла, завтра — на мели, Сегодня между небом и землею. Опять менты по полной замели. Что ж я, любимый, делаю с тобою! Твой дерзкий взгляд за годы не погас. Ты не корил, не посылал, не дрался. Ты лишь однажды дал тихонько в глаз, Но самым нежным в памяти остался. Сижу я в обезьяннике пустом, Торгуя рылом — красно-сине-желтым. Так осени, прошу, меня крестом С той высоты, в которую ушел ты» («Одна»).

Идеально (с точки зрения А. Блока: из трех катренов) лирическое сочинение «Калейдоскоп», и таковых немало в сборнике. Спасибо автору и за краткость, вполне достаточную: «Ни копейки нету, ни мапейки, Ни палаты вашего ума — В голове щебечут канарейки, Стеклышками ранит кутерьма. Греемся на солнышке, а ночью Под луной, до утренних седин, Друг свою улыбку скалит волчью, Ну, и что же, он такой один. Мы сидим на краешке вселенной — Нам уже ни в чем не прекословь! — В ожиданьи легкой и мгновенной И такой же страшной, как любовь».

Бабки-Лидкины «глаза народа» с возрастом теряют остроту, но она имеет силу сказать: «И прозревая горечь и молву, Слова и буквы снова вижу — в небе».

И даже так: «И в этот предпоследний миг Увижу на стене Николы Чудотворца лик, — Он улыбнется мне».

Станислав МИНАКОВ

СЛУЖБА ПОНИМАНИЯ

Марк Харитонов. Джокер, или Заглавие в конце. Киев: Каяла, 2016. — 199 с.

Марк Харитонов — безусловно, один из самых интересных и значительных современных писателей. Понятие значительности в наше время слишком тесно,

до полной неразличимости, сблизилось с понятием медийности, и в этом смешении как-то потерялась собственно литературная составляющая. Возможно, и хорошо, что творчество Харитоновой оказалось в стороне от публичной сферы (не вовсе в стороне, впрочем: его роман «Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича» стал первым лауреатом премии «Русский Букер»). Его проза не годится в качестве предмета статусного потребления, эдакого интеллектуального аксессуара для кофейни. В эпоху, когда литературная критика проваливается в зор между колонкой глянцевого журнала и политическим доносом, такие писатели, как Марк Харитонов, оказываются невидимками — и вместе с тем именно благодаря им сохраняется возможность, что разговор о литературе все же провалится туда не окончательно.

Новый роман Харитоновой «Джокер, или Заглавие в конце» привлекает внимание не в последнюю очередь потому, что материалом для писателя служит современность. Как ни парадоксально, для современных романистов именно современность оказывается главным камнем преткновения — а точнее, минным полем, которое никак невозможно вспахать. Почти все сколько-нибудь резонансные литературные произведения последних двадцати лет написаны либо в жанре фантастической притчи, либо исторического романа (или же совмещают тот или другой жанр). Даже если автор начинает рассказывать историю героя, живущего в наши дни, история неизбежно смещается в прошлое, в опыт советской эпохи (О. Славникова «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», Л. Улицкая «Казус Кукоцкого», А. Геласимов «Рахиль», П. Санаев «Похороните меня за плинтусом» и др.). Писатели самых разных поколений вновь и вновь возвращаются к реальности 1950–1980-х годов, которая одна и выходит у них осязаемой и полнокровной. Современность же оказывается населена карикатурными набросками, словно авторы не живут в нынешней действительности, а составляют о ней представление, ухватив из окна машины времени несколько газет и записей рекламных клипов.

Автору этих строк одно время казалось, что и творчество Марка Харитоновой не избежало этого скользкого покрытия на пути — до знакомства с его романом «Проект „Одиночество“», в котором современность описана не менее живо и наблюдательно, чем позднесоветская эпоха в других его романах. Нынешний роман, «Джокер», видится мне своего рода продолжением «Проекта „Одиночество“» — по крайней мере, принадлежащим к одному стилистическому блоку: современная обстановка и современные герои, легкий флер научной фантастики, связанной с искусственным интеллектом (впрочем, в «Джокере» флер этот истончается до почти полной неосязаемости). Новое, однако, принципиально отличающее «Джокера» не только от предыдущих романов Харитоновой, но и от большей части нынешней русской литературы — это решимость изобразить молодое поколение, причем изобразить достоверно и с пониманием.

Именно по этой части у нас полная беда. Писатели старше 50, как правило, пишут о молодежи так, словно в жизни не видели ни одного школьника или студента, а сведения о них черпают из рекламных клипов канала ТНТ. Что касается писателей моложе 50, то они, когда не упражняются в антиутопиях и фэнтези, пишут главным образом о себе, и их взгляд на мир безнадежно солипсичен. В этом, кажется, повинен и рецензент, тоже принадлежащий к категории «русские литераторы моложе 50»: невозможность обобщения личного экзистенциального опыта вкупе со стыдливостью, мешающей втюхивать читателю изрядно прогоркший автобиографизм, толкают на обращение к языку мифа и исторического романа.

Таким образом, при кажущейся простоте темы — описать несколько современных студентов и их отношения с преподавателем — задача, которую взял на себя Марк Харитонов, едва ли не неподъемна. И справляется он с ней блестяще. Признать-

ся, мне, с моим девятилетним опытом преподавания в гуманитарном вузе, было сложно поверить, что автор романа никогда в этой профессии не работал — настолько убедительно вышли у него и психология преподавателя литературы, и его подопечных. Что лишний раз подтверждает старую истину: писателя делает писателем не личный биографический факт, а воображение. (Поминать ли всеу Высоцкого, автора ярчайших песен о войне, который воевать просто по малолетству не мог?)

Галерея студентов написана блестяще, все типажи не выдуманные и не карикатурные — словно автор и вправду целый семестр входил в аудиторию, видел их перед собой, читал им лекции, внутренне закипая от того, что они шуршат бумажками и хихикают. Лиана — восточная девушка из обеспеченной семьи, с претензией на гламур, сознающая свою привлекательность. Московский вуз для нее — способ оттянуться, компенсировать нехватку свободы в своей патриархальной семье. Оттягивается жадно, пока есть возможность. Наверняка носит юбку на два размера меньше, чем требует хороший вкус — так, чтобы чуть ли не лопалась на попе. К науке ни влечения, ни способностей не имеет, но вовсе не дура. Вполне возможно, именно в науке карьеру и сделает — отхватит грант на исследования малоизвестных писательниц-феминисток и возглавит какой-нибудь институт.

Пашкин — собирательный тип хипстера из семейства, связанного с госчиновниками, вынырнувшего из мутной воды 90-х, в которой чиновничество и бандитизм растворились и смешались до неузнаваемости. По сути, заурядный хам, реинкарнация замятинского Барыбы из «Уездного», но с неутоленным комплексом элитарности: денег и силы ему недостаточно, он жаждет роли нового аристократа. Напрочь лишен каких-либо моральных принципов, по-своему искренне находя оправдание своей жизненной позиции в поверхностно нахватанной философии постмодернизма. (В романе упомянуто, что он на пять лет старше сокурсников, до этого пробовал учиться где-то еще. Воображение подсказывает, чем заполнить это белое пятно — наверное, тусовался в еще существовавшем тогда клубе «Билингва» и почитывал Пелевина.) Постепенно входит во вкус, расправляет плечи, игры его становятся все менее безобидными. Остается дожидаться, на какой странице романа он побреет башку.

Тольц, третий участник любовного треугольника (ибо, разумеется, они с Пашкиным соперничают за внимание эффектной Лианы). Явный и откровенный фрик, поначалу вызывающий недоумение, кажущийся чуть ли не нигилистом. Фамилия очевидно рифмуется с персонажем Гончарова, отличавшимся, как известно, сухим математическим складом ума, чуждым поэзии. Нечто подобное присуще и Тольцу: он одержим идеей описать все на свете с помощью компьютерных алгоритмов. Как ни парадоксально, именно он со своим отчаянным желанием верить алгеброй гармонии оказывается наиболее человечным в вывернутой реальности — но не будем рассказывать слишком много, сюжет в романе закручен почти детективно и сулит читателю множество неожиданностей... Самая приятная неожиданность — все эти персонажи разговаривают естественным, нормальным языком, а не гротескным псевдожаргоном, в котором старательно расставлены слова «круто» и «чувак».

И, конечно, преподаватель, который за ними наблюдает. Как это все знакомо, пережито изнутри собственной шкуры: любовь к профессии, в которой стыдишься признаться даже самому себе, из боязни перед самим собой выглядеть лопухом и сентиментальным идеалистом. Размышляешь: что, собственно, я тут делаю? Нужны ли этим марсианам мои рассказы про литературных классиков? Плюнуть и поставить зачет, чтобы отвязались, или все же пытаться вдолбить в головы какие-то знания?

Ситуацию осложняет то, что «марсиане», которые не слышали про Курочку Рябу, не читали «Анну Каренину» и не смотрели фильмов Феллини, вовсе не мультяшные покемоны, а люди, наделенные чувствами и сознанием. У профессора, от лица

которого ведется повествование, достаточно проницательности и здорового любопытства по отношению к другим, и он весьма быстро понимает, что, при всей чуждости его опыту и культурному багажу, его студенты обладают внутренним миром, который ничуть не беднее его собственного мира — там кипит эмоциональная и интеллектуальная жизнь. Начальное предубеждение оказывается преодолеть не так уж сложно. Куда сложнее взять на себя бремя понимания и ответственности.

Сквозной подтекст всего романа — ни разу прямо не процитированное, но упорно вспоминающееся (думаю, любому коллеге главного героя оно автоматически придет на ум) определение С. С. Аверинцевым филологии как «службы понимания». Определение, которому главный герой упорно сопротивляется в своей профессии, опасаясь, что ясное понимание текста лишит его удовольствия от художественного произведения — в ход идет затертая метафора «живого/мертвого» («Рыба, вытащенная на воздух, уже не живая»). Этот подход кажется безобидной романтикой — до тех пор, пока не обнаруживается, что отделить профессию от жизни для героя невозможно и что натренированная способность блокировать понимание, не доводить его до конца не так уж безобидна. За лирикой укрывается род душевной глухоты, тяга к собственному комфорту, как и сам он порой осознает: «...и лишь порой пробивалось чувство, что до конца в своем понимании предпочитал не доходить. Словно это могло испортить мне настроение, вынудило бы засомневаться, что-то перепроверять заново. Потому что дело было не просто в текстах, не в литературе, вот в чем я запоздало стал себе признаваться...» Диагноз ему ставит его научный руководитель, рассуждая словно бы о литературных приемах Чехова — но герой-то догадывается, о ком идет речь: «Способ справляться с реальностью, смягчать ее жестокость, не так ощущать ее безнадежность, безысходность, да? <...> Вникать в текст по-настоящему слишком болезненно, засомневаешься, на чем в этой жизни держаться». Первая фраза как будто о Чехове, последняя — кажется, совсем уже не о Чехове, не зря новоиспеченному кандидату наук становится «неуютно». Неуютность эту он предпочитает отринуть, сделать вид, что все в порядке. Но метод создавать уют однажды обернется своей роковой стороной. Именно в тот момент, когда герою *нужно* понять — понять мотивы окружающих его людей, понять, что происходит, — понимание упорно подводит его и приходит слишком поздно. (На пороге смерти — по законам жанра экзистенциалистского романа.)

Наиболее сильное впечатление производит момент, когда герой — с его интеллигентной утонченностью, с его тоской по культуре и страхом перед хаосом современной жизни — вдруг слышит собственные слова о необходимости иерархии, о новой аристократии из уст монструозного Пашкина. Причем Пашкин еще не успел проявить себя, так сказать, в полной красе, но дурное предчувствие уже пробегает морозом по коже. Трудно более емко изобразить всю историю постсоветской интеллигенции в нулевые. Ведь мы и в самом деле тосковали по иерархичности — говорю «мы» не в абстрактно-газетном, а в самом прямом смысле слова, поскольку сама отметилась в те годы статейкой на сходную тему (за которую одна пламенная особа обвинила меня в «фашизме»). Каково же было недоумение, схожее с ощущением дурного сна, когда наши рассуждения о духовных ценностях, об опасности хаоса и вседозволенности, о защите культуры вдруг оказались подхвачены пашкиными всех калибров — и зазвучали как-то совсем не так, как должны были, по нашим представлениям, звучать, а словно эхо гигантского испорченного микрофона, кошмарная пародия на наш интеллигентский пафос. Профессор все никак не поймет, куда дело клонится: «...я мог только еще раз заговорить о категории людей, способных задавать обществу систему ценностей, духовных, интеллектуальных, политических, нрав-

ственных. Если угодно, в перспективе таких, как они, вот эти студенты...» Ну так что ж, мог бы сказать Пашкин, хотели — вот он я. Задам по полной программе.

Поначалу это может показаться отсылкой к Достоевскому и его вопросу о «наполеонах». Но Пашкин вовсе не дубликат Раскольникова, который честно разрабатывает идею и честно ее проверяет. Вообще было бы большой ошибкой воспринимать «Джокера» как роман идей, в котором персонажи излагают теории, а кто-то или что-то их тестирует. «Джокер» — нечто совсем другое и уж точно не роман идей.

Что-то до боли знакомое слышится в монологе Пашкина, когда он сбрасывает маску:

«Вы бы посмотрели, какие у него [отца] сейчас статуэтки, непальские, китайские. Ну да, он не очень пока разбирается, но о чем-то уже может говорить. Есть профессионалы, эксперты, если надо, они на него будут работать. Для отца когда-то не было разницы: пить бормотуху из эмалированной кружки или вино из тонкого бокала. А вот я уже из кружки не могу. И в винах стал разбираться. И в устрицах, знаю сорта. Утонченности, может, не всегда хватает, появится, глядишь, потом. В следующих поколениях. Оформится, глядишь, и новая наследственность. Сначала деловые отношения, потом родственные...»

Ах, вот оно что. Это же Бенедикт из «Кыси», антиутопии Татьяны Толстой, написанной еще в 2000 году:

«— У меня жизнь духовная, — кашлянув, вмешался Бенедикт.

— В каком смысле?

— Мышей не ем.

— Ну и?..

— В рот не беру. Только птицу. Мясо. Пирожок иногда. Блины. Грибыши, конечно. Соловей „марешаль“ в кляре, хвощи по-савойски. Форшмак из снегирей. Парфэ из огнецов а-ля лионнэз. Опосля — сыр и фрукты. Все.

Прежние молчали и смотрели на него в четыре глаза».

Кто уже забыл сюжет «Кыси»: Бенедикт только что женился на дочери высокопоставленного сотрудника тайной полиции... Да, зорко разглядела Толстая этот тип персонажа, который, казалось тогда, мог появиться только на страницах гротескной сказки.

Роль обалдевшего Прежнего, конечно же, отведена профессору. Не тому он учил своего подопечного, совсем не тому... Впрочем, причины неудачи героя-интеллигента в «Кыси» и в «Джокере» разные. Никита Иванович в «Кыси» хоть и пародиен, и смешон, но, по крайней мере, чистосердечен в своем намерении достучаться до сознания странных новых людей-мутантов (сколь ни нелепы методы). Беда в том, что мутация, по Толстой, уже необратима, и в новом мире Никите Ивановичу просто нет места — ему остается только вознестись на небеса. В «Джокере» все иначе. Во всяком случае, мне он видится как роман о профессиональной несостоятельности гуманитария.

Гуманитарий — следовательно, человековед; понятие гуманитарных наук ведет родословную от *studia humanitatis* Ренессанса — концепции наук «о человеке и для человека». Наука, не вносящая вклад в постижение и личностное развитие человека, для гуманистов была равнозначна невежеству — именно по этому критерию они противопоставляли себя схоластике. Казалось бы, что может быть дальше от схоластики, чем страх главного героя «Джокера», что «ученое толкование может умертвить трепетную, таинственную строку»? Но цена этой трепетности названа: страх перед сомнением, желание оставаться в своем уютном эстетическом мирке. Станным образом отчаянные потуги юного Тольца создать компьютерный алго-

ритм, описывающий непредсказуемое, куда более гуманистичны, чем лирическое самоудовлетворение профессора.

Сюжетную линию со студентами дополнительно подсвечивает эпизод в деревне. Классическая тема русской литературы — «хождение в народ» — получает неожиданное решение. Для современного героя оказывается невозможной не то что толстовская идиллия — даже бунинско-вересаевская драма. Кажется, если бы его побили, эта сцена и то не была бы такой безысходной: вместо пасторали или драмы попытка наладить общение с пресловутым народом проваливается в пустоту, в черную дыру невозможности катарсиса, и даже алкоголь, излюбленная панацея позднесоветских бытописателей, не в силах сблизить профессора с Федором. Федор — «только что пытавшийся мне что-то сказать, объяснить, а может, ждавший от меня объяснения, понимания» — вскоре погибнет, а профессор, кажется, так и не спросит, на чьей могиле тот плакал.

Магическим помощником, способным к коммуникации с Федором, выступает жена героя, но как раз она (как и тема пресловутой женской интуиции, в которую верит не только герой, но, похоже, и автор) в романе смотрится не вполне убедительно, сводясь чуть ли к набору анекдотических шаблонов (а ведь герой-то не шаблонный, и подача материала не шаблонная). Это, по-моему, единственный недостаток романа.

Напротив, крайне живо изображена тусовка на присуждении литературной премии — ваша покорная слуга поначалу даже «узнала» в описании конкретную буковскую церемонию и вполне реального лауреата (разве что прототип не толст, в отличие от романного персонажа), хотя при попытке задать вопрос автору выяснилось, что на церемонии той он не был и роман того лауреата не читал... Каждый вправе решать самостоятельно, слукавил автор или нет. Мифическая «женская интуиция» не хочет мне ничего подсказывать.

Возможно, я вообще превратно истолковываю все авторские намерения, в силу своей профессиональной деформации, и это мне нужно расписываться в филологической несостоятельности. Возможно, автора моя интерпретация романа огорчит или рассердит. По крайней мере, как ни банально это звучит, роман Марка Харитонova приглашает задуматься — и для меня размышление оказалось плодотворным.

Мария ЕЛИФЁРОВА